

КАРОЛИН ДЕ МЮЛЬДЕР
**КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ РЕЙХА**

РОМАН



Каролин Де Мюльдер
Колыбельная для Рейха

«Фантом Пресс»

2024

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)

Де Мюльдер К.

Колыбельная для Рейха / К. Де Мюльдер — «Фантом Пресс»,
2024

ISBN 978-5-907943-11-7

Хайм Хохланд, Бавария, 1944 год. В отдаленный нацистский пансионат для будущих матерей едва доходят слухи о войне, там делается все, чтобы оградить новорожденных и их матерей «правильной расы» от событий внешнего мира. Юная Рене, француженка, изгнанная семьей после того, как она влюбилась в немецкого офицера, находит там убежище в ожидании нежеланных родов. Немка Хельга – образцовая медсестра, отвечающая за уход за беременными женщинами и младенцами, через ее руки проходят женщины с трагическими судьбами и младенцы, которых изгоняют из этого маленького рая, если они не соответствуют требуемым расовым критериям. Регулярно сталкиваясь с такой жестокостью, Хельга начинает сомневаться в том, что делает, – мир, который казался ей идеальным, дает трещину, и уютное прибежище становится ловушкой. Что с ними со всеми станет, когда сюда доберется война? Драматический, основанный на реальных фактах роман о малоизвестной странице Второй мировой войны, о том, как нацисты выстроили систему инкубаторов для «производства» расово безупречных детей.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)

ISBN 978-5-907943-11-7

© Де Мюльдер К., 2024

© Фантом Пресс, 2024

Содержание

Часть первая	7
Рене	7
Хельга	13
Рене	17
Марек	21
Хельга	23
Рене	28
Марек	33
Хельга	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Каролин де Мюльдер

Колыбельная для рейха

Caroline de Mulder, La pouponnière d'Himmler

Copyright © éditions Gallimard, 2024

© Александра Василькова, перевод, 2026

© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2026

© «Фантом Пресс», издание, 2026

Посвящается Лу

Думать мне не положено. Мой долг – повиноваться.

Робер Мерль, «Смерть – мое ремесло»

Wo alle Straßen enden ===== Там, где заканчиваются все
улицы,

Hört unser Weg nicht auf ===== Наша дорога бесконечна,

Wohin wir uns auch wenden ===== Куда бы мы ни шли,

Die Zeit nimmt ihren Lauf ===== Время всегда уходит.

Das Herz, verbrannt ===== С выжженным сердцем,

Im Schmerz, verbannt ===== Скорбные изгнанники,

So ziehen wir verloren durch das ===== Мы скитаемся по угрюмой
graue Niemandsland ===== ничейной земле.

Vielleicht kehrt von uns keiner ===== Может быть, ни один из нас
mehr zurück ins Heimatland ===== уже не вернется домой.

Wir sind verloren ===== Мы пропали

Wir sind verloren ===== Мы пропали

Wir sind verloren ===== Мы пропали

Wir sind verloren ===== Мы пропали

Wir sind verloren ===== Мы пропали

Wir sind verloren ===== Мы пропали

Wir sind verloren ===== Мы пропали

Немецкая военная песня

Часть первая Убежище

Рене

Двести белых пеленок в три ровных ряда. Запах марсельского мыла и сгущенного молока. Дребезжащие смешки ненадолго заглушают детский лепет, который слышится и из парка, и из настезь распахнутых окон. Четыре женщины, болтая и смеясь, снимают прищепки с веревок и бросают в металлическую коробку. Складывают пеленки стопками в большие плетеные корзины.

Еще три женщины на крыльце белого дома чистят картошку. Картофелины плюхаются в ведро с водой. Очистки падают на газету. Две женщины на сносках переговариваются громкими, резкими голосами, третья, в платье с цветочками, молчит.

Ее зовут Рене, и она обрита наголо. Едва заметный рыжий ежик. Глаза как у дракона, зеленые с оранжево-красным ободком вокруг зрачка. Светлых ресниц почти не видно. Она встает, полыхнув обнаженным взглядом. Были бы у нее волосы – никто бы мимо не прошел, но волос у нее нет, а с лысой головой она похожа на тощую кошку. На упрямого мальчишку. Внезапно она, ойкнув, сует в рот порезанный палец.

– *Was ist los?*¹ – спрашивает ее соседка.

Вкус железа и соли, далекого моря, она захлебывается, поднимает к небу глаза, пылающие заревом заката. Вынимает палец изо рта, сжимает кулак. Капли крови на газете и на траве. Она не говорит по-немецки. *Я не понимаю тебя, ни слова не понимаю из того, что ты мне сказала.* Она молчит.

Овощи с бульканьем падают в ведро. Кровь часто капает на газету, впитывается в бумагу. Все картофелины к завтрашнему обеду почищены и плавают в ледяной воде. Женщины закончили работу. Одна из них, с широким лицом и пепельными волосами, приподнимает ведро за ручку. Старается удержать равновесие, но центр тяжести у нее смещен, она кладет руку на выступающий живот. Тащит ведро. Вода плещет ей на платье. Рене сворачивает газету с очистками, получается большой сверток, она прижимает его к себе.

Она встает, идет к огибающей пруд тропинке, пыльные башмаки стучат по пересохшей земле. Она видит вековые дубы на том берегу. А дальше – поля и снова поля, вольный воздух, бескрайнее небо. Совсем рядом с ней плотные заросли, высокие, раскидистые деревья. В их тени веет холодом, она вдыхает запах испаряющейся воды, растительный и пресный. Воздух неподвижен, ни один листок не дрогнет на озаренных солнцем верхушках деревьев. Она оглядывается через плечо. Женщины уже ушли в дом. Перехватив сверток левой рукой, правой она достает из кармана горсть медового печенья. На ходу съедает одно, потом второе.

У самой большой группы деревьев она поворачивает к огромному дощатому ящику с крышкой. Земля здесь не такая пересохшая и проминается под ногами. Теперь ей слышно,

¹ Что случилось? (нем.).

как трещат ветки, словно убегает какой-то зверь. Она подходит ближе и видит его, наполовину скрытого ящиком. Стоя на коленях, он жадно заталкивает обеими руками в рот сырые очистки. Высокий, тощий, кожа да кости. Рядом с ним лежат грабли, повернутые зубьями к небесной синеве. Глаза у него запавшие, скулы выпирают. Он весь сжался, взгляд затравленный, изношенная рубашка сильно ему велика, болтается на усохшем теле.

Увидев Рене, он срывается с места, набрасывается на нее. Она вскрикивает, шарахается от него, падает навзничь. Пытается встать. Мужчина, не глядя на нее, собирает рассыпавшиеся обломки печенья, набивает ими рот. Потом хватается грабли. Она закрывается согнутыми руками. Но мужчина, даже не отдышавшись, с полным ртом, распрямляется, заслоняя небо, и удирает.

Рене встает. Смотрит против света, как убегает это нескладное пугало. Оно уже давно скрылось из виду, а она все еще смотрит ему вслед. Вокруг рта у нее налипли крошки печенья. К платью пристали обрывки прошлогодних листьев. В конце концов она собирает рассыпавшиеся по земле холодные жесткие очистки и бросает их в ящик, к вырванным сорнякам и увядшим веткам. Хорошо пахнет еще не перегнившей землей. В солнечных полосах гудят насекомые. У ее ног валяется газета «Рейх» от 27 августа 1944 года с фотографией Атлантического вала, она своими глазами видела этот вал, он проходил совсем рядом с ее домом. У нее был дом. До того, как ее *судили*. Она уже и не знает, прогнали ее или она сама сбежала, толком не знает, где находится, где-то в Германии, в каком-то месте, где много немецких женщин. Где ее приютили.

По виску скатывается капля пота. Издалека долетает колокольный звон. 17:40. Она подбирает сырую, местами порванную газету, сминая, бросает в ящик. Делает несколько шагов в том же направлении, что и мужчина. Его уже не видно. За рощей картофельное поле, иногда женщин посылают туда собирать картошку. Сейчас там никого нет.

Она боится, что он вернется. Задается вопросом, вернется ли.

Она чувствует себя до боли одинокой, такой одинокой, что пересыхает во рту.

Мужчина не возвращается.

Они не возвращаются никогда.

Снова звонит колокол.

Она той же тропинкой идет назад, к двойному, беленному известью дому на возвышении. Слева старое крыло, справа новое, к обоим ведут каменные лестницы, поднимающиеся среди полевых цветов и душистых трав, лимонной вербены и тимьяна. Все женщины уже в доме. Где-то вдали кричит новорожденный ребенок. На балконах ровные ряды колыбелей, их выставили на свежий воздух, затенив белой тканью. А рядом с домом реет в солнечных лучах черный эсэсовский флаг, он будет реять не меньше тысячи лет.

Дом не похож на казарму и еще того меньше – на больницу. Скорее, на летний пансион, который очень хорошо содержат. Непомерно огромный загородный дом в окружении служб и полей, с видом на пруд.

17:45, ужин. Неясный гул женских голосов. В общей комнате везде отзывается эхо. На время еды эта просторная комната превращается в светлую столовую с паркетным полом.

Свет из окна, выходящего в парк, озаряет сидящую за столом Рене, окружает нимбом ее едва отросшие волосы. Через окно ей видны лужайка, деревья, пристройки. За прудом – чистое поле.

В руках у нее красивые серебряные приборы с выгравированным гербом Ротшильдов под баронской короной, перед ней большая тарелка с клеймом берлинской фирмы *Frühling & Pelz*. На столах скатерти в цветочек, за каждым столом двенадцать женщин в ситцевых платьях, почти все молодые, есть и совсем юные. Руки у них чистые, ухоженные, голоса отдаются эхом от белоснежных стен. Пахнет стиркой, солью, свежими овощами.

Рядом с дверью меню на неделю, обеды и ужины с понедельника по воскресенье. Сегодня, в субботу 2 сентября 1944 года, овощной суп, жареная говядина, хлеб, масло, салат из огурцов.

Медсестра постукивает вилкой о стакан, и тут же воцаряется несколько напряженная тишина.

– В 16:29 родился Юрген, 3 килограмма 400 граммов, рост 50 сантиметров, окружность головы 36,5.

Аплодисменты, веселые крики. «*Lebe Jürgen, lebe Frau Geertrui!* Долгих лет Юргену! Долгих лет фрау Хейтрёй!» Одна из женщин плачет.

Дожидавшиеся в сторонке служанки ставят на столы супницы. Стук металла о фаянс, звон стаканов – все словно хрустальное.

18:15. Обычно в вестибюле тихо и пусто, но сегодня вечером там что-то готовится. Стоит стол, покрытый скатертью с гигантской свастикой. На столе портрет Гитлера и цветы – похоже на алтарь в импровизированной часовне. Перед столом пестрый ковер и большая белая подушка с кружевами. Над всем этим еще один флаг со свастикой: *Deutschland, erwache*, Германия, пробудись. Напротив стола семь рядов стульев. Вот уже несколько дней Рене то и дело слышит слово *Reichsführer*.

18:20. Комната 23 просторная, рядом с дубовыми кроватями резные тумбочки, такие же резные платяные шкафы, столик на одной ножке, по бокам от него кресла, большой зеленый бархатный диван. У каждой пансионерки собственный умывальник с зеркалом. Все наряднее и роскошнее, чем в эсэсовском родильном доме в Ламорле, где она провела несколько недель, перед тем как 10 августа ее эвакуировали. Эту дату она хорошо запомнила.

На двери с внутренней стороны расписание. Рене не говорит по-немецки, но ей помогают цифры и незыблемый распорядок дня. Теперь она понимает значение каждого или почти каждого слова.

5:00–6:00. Кормление 1 (*Stillen*, и *s* произносится как «шшш», как будто хотят сказать «тише», тишина по-немецки – *Stille*)

6:00–6:30. Навести порядок в комнате (*Zimmer in Ordnung bringen*; *zimmer* читается как «циммер»)

6:30–7:00. Выпить кофе (*Kaffee trinken*, как будто кофе пьют, чокаясь)

7:00–8:00. Купание (слово *Baden*, с долгим *a*, заставляет размечтаться о курорте)

8:00–8:30. Кормление 2 (*Stillen – Schhhhtillen* – шшш)

8:30–9:00. Завтрак (*Frühstück*, над *ü* две точки, чтобы оно не читалось как «у»)

9:00–10:45. Работы по дому (*Windeln legen oder andere Hausarbeiten*, она не знает, что значит *Windeln*, но понимает *Haus* и *arbeiten*, «дом» и «работать»)

11:00–11:30. Обед (*Mittagessen, essen* означает «есть»)

12:00–13:00. Кормление 3 (*Stillen* – шшш)

13:00–14:45. Отдых (*Ruhe*, «ру» – с придыханием)

14:45–15:15. Выпить кофе (*Kaffee trinken*, чокаться и пить)

15:15–16:15. Кормление 4 (*Stillen* – шшш)

16:15–17:45. Работы по дому (*Windeln legen oder andere Hausarbeiten*; может быть, *Windeln* – это пеленки, которые надо без конца развешивать на солнце, потом складывать. В любую погоду служанки хлопчут у колонки с большими металлическими чанами, полными грязного белья, и мешками стружки марсельского мыла, они трут, выкручивают, отжимают, разглядывают на просвет квадраты белой ткани и щурятся, солнце слепит)

17:45–18:15. Ужин (*Abendbrot, Brot* – это «хлеб», *Abend* – «вечер»)

После ужина – прогулка, пение или чтение до 19:30; *Nach dem Abendbrot: Spaziergänge, Singen oder Lesen bis 19:30*. Еще иногда бывают занятия, лекции, речи по радио, которые обязаны слушать все женщины и из которых она мало что понимает.

19:30–20:30. Кормление 5 (*Stillen* – шшш)

Под распорядком дня – правила. Пансионерки отвечают за свои комнаты, *Schwestern*² и служанки – за другие помещения. Вечером все собираются во дворе или в общей комнате, в зависимости от того, чем будут заниматься. А перед этим закрывают ставни. Свет положено гасить ровно в 21:00, а лучше – перед ужином. В спальнях матерей надо выключать лампы под потолком, оставлять можно только затемненные ночники. «Затемненные» – *dunkelte* – подчеркнуто. Как будто сюда могут долететь бомбы. Здесь так спокойно. Не слышно ничего, кроме женских голосов, крика новорожденных и птичьего щебета. Еще жук какой-нибудь иногда прожужжит. В этом женском доме ты словно на краю света, кажется, ничто из внешнего мира не дотянется сюда, в глушь. Война пока далеко от Штайнхёринга. Она гналась за Рене, бежавшей из своей нормандской деревни, и настигла ее у самого Парижа, в Ламорле, всего через двадцать три дня. Тогда Рене уехала в Германию в военном автобусе вместе с десятком младенцев, еще несколькими женщинами и медсестрами и попала сюда, в другой родильный дом, где так хорошо кормят. Но война тем временем продвигается с запада на восток, она приближается, и кто ее остановит?

Рене все еще чувствует солоноватый вкус овощного супа. Она открывает окно, выпускает народную музыку из парка. Хорошо, что ее комната выходит на ту сторону, где пруд. Прямо перед окном ровный ряд горшков с цветущими геранями в заботливо увлажненном черноземе. Пахнет политой землей. Она смотрит в парк. Рядом с веревками для сушки белья водят хоро-вод двенадцать женщин. Она пытается разглядеть рощу и компостный ящик по ту сторону пруда, но видит только деревья, свет играет в листве, бьет в лицо, слишком много света, он сушит глаза, она трет их тыльной стороной запястий. На горизонте ничто не шелохнется, нигде и следа нет ее обидчика, который ел очистки и украл печенье. Она не может забыть его взгляд. Кто это был? В доме, кроме доктора, нет никаких мужчин. Может, кто-то оголодавший из деревенских. Или один из заключенных, работающих в поместье. Это они строят здесь громадные деревянные бараки. И парк приводят в порядок тоже они, но их даже издали не видно, с ними никто никогда не встречается.

² Медсестры, сестры (нем.).

У нее за спиной открывается дверь. Соседка по комнате, фрау Герда с туго заплетенной косой и злобным взглядом, что-то ей говорит, но Рене понимает только слово *verboten*³. Она медленно закрывает окно, садится на свою кровать. Она грезит. Не грезит. Это даже не греза, это рассеянность, ничто вокруг не занимает ее по-настоящему. А еще чаще это наваждение. Она думает про Артура Фейербаха. Все время. Она думает о нем, даже не думая.

Вот уже десять недель и шесть дней, как она его ждет. Если хорошенько подумать, даже тогда, когда он был с ней, она уже его ждала. Как будто чего-то в ней еще не доставало. Или в нем что-то уже ушло. Или умерло. У пустоты, которая всегда была в ней, теперь есть мужское имя. Артур Фейербах – пустота, которую только он один может заполнить, душевная болезнь, от которой он один способен исцелить, тюрьма, из которой никто, кроме него, не может ее освободить.

Артур Фейербах. Его имя звучит для нее несмолкающей мелодией и невольно подступает к губам. И к глазам.

Она выпевает его, извергает из себя и оплакивает.

Он вернется. Он не вернется. Он будет жить, не будет жить. Он любит ее, любит ли он ее на самом деле?

Она пишет письмо, еще одно, сколько их, она считает дни, но уже не считает писем, те, что отправила, те, что выбросила. Перо течет, роняет каплю чернил, она размазывает кляксу по бумаге, будто черную слезу, надо переписывать, она комкает листок, берет другой.

Дом «Хохланд», Штайнхёринг, 2 сентября 1944

Lieber Artur⁴,

Сегодня вечером у нас великолепный закат, видел бы ты! Может быть, и ты его видишь. Какая погода там, где ты сейчас, – облачно, дождь или солнце, как у меня? Я говорю себе, что ты где-то на другом краю этого неба, может быть, смотришь на него, и оттого-то оно такое красивое, и мне от этого больно.

А вообще, у нас снова был чудесный день, здесь все так мирно, трудно поверить, что идет война! Но я все время думаю про войну, потому что ты там, и все время думаю о тебе, я так много думаю о тебе, что боюсь пуль, когда выхожу в парк.

Сегодня на ужин давали мясо, салат из огурцов и самый вкусный на свете овощной суп! О нас заботятся. А на полдник – сладкое, Kaiserschmarrn⁵ (я никак не могу выговорить это слово!), ты же пробовал такое? Конечно, да, потому что оно мне так и понравилось.

Дни тянутся долго, сегодня, вчера, завтра, все растворяется в страшной тоске по тебе, но я стараюсь занимать себя, как могу, мелкими работами по хозяйству, а вчера вечером одна Schwester читала нам лекцию о воспитании маленьких детей (я так думаю – я не все поняла), и в среду у нас опять Mutterschule⁶, будем слушать речь по радио в большом зале. Вот какие

³ Запрещено (нем.).

⁴ Милый Артур (нем.).

⁵ Кайзершмарн, «императорский омлет», горячий мучной десерт.

⁶ Материнская школа (нем.).

новые слова я сегодня выучила: Pellkartoffeln, Gurkensalat, Buttermilch⁷ и Namensgebung.

Главная здешняя новость – завтра будет особенный праздник для новорожденных и придет Гиммлер! Namensgebung⁸ – так называется этот праздник. Я потом тебе напишу и все расскажу.

Уже 18:30, я слышу за окном музыку, там народные танцы, не могу утерпеть, пойду туда. Здесь, в этом доме, почти весело, любимый. Но если бы я только знала, где ты сейчас, я, кажется, не удержалась бы и тут же отправилась бы к тебе.

Где бы ты ни был.

Deine⁹

Рене

Иногда ее вдруг пронзает мысль, что она едва знает этого человека, Артура Фейербаха, что она не знает его. И что теперь она всем своим существом цепляется за него, как за надломившуюся ветку.

Иногда она радуется тому, что он не понимает по-французски.

Что ее письма, возможно, до него не доходят.

18:45. На лужайке пять хороводов, каждый из шести женщин, кружатся по часовой стрелке. Шорох травы под ногами мешается со звуками аккордеона. Музыка идет от проигрывателя на маленьком плетеном столике волнами, будто ее уносит ветер или механизм заедает. Помехи, металлическое потрескивание. Шаги шуршат, ноги в такт приминают траву, тридцать правых, потом тридцать левых. Согнуть колени, и влево, и вправо. Левая, правая, левая. Ситцевые платья колыхнутся от движения. Ветер слабый, дуновение, дыхание, не более того.

Рене не танцует. Она сидит на краю террасы, натянув на колени широкое платье в полоску, прижав растопыренные пальцы к нагретому камню. Порезанный палец дергает. Она смотрит, как женщины выстраиваются цепочкой, на счет три грациозно кланяются и по очереди проходят под соединенными, поднятыми вверх руками первой пары. Все они – молодые или будущие матери, кроме одной, в форме медсестры, в коричневом платье из грубого полотна с белым передником. Чепец она сняла, и виден тяжелый узел светлых волос. Она высокая, с тонким орлиным носом. Это *Schwester Helga*, Рене ее знает. Когда ее только привезли и доктор ее осматривал, сестра Хельга все записывала. Она занималась бумагами Рене и показала ей ее комнату. А сейчас она улыбается, глядя в небо. Улыбка немного застывшая, но руки и ноги двигаются легко, она словно пьет свет. Рене ощипывает стебелек лаванды, теперь от ее пальцев всю ночь будет приятно пахнуть.

⁷ Картофель в мундире, салат из огурцов, пахта (нем.).

⁸ *Namensgebung* – обряд имянаречения; во время этой светской церемонии (по сути, заменявшей христианское крещение) новорожденного, которому давали имя и назначали крестного, принимали в общину СС. Дети из семей СС или дети матерей-одиночек, состоявших в нацистской партии, в любом случае проходили через этот обряд, характер которого, однако, не был строго определен. – *Примеч. автора.*

⁹ Твоя (нем.).

Хельга

Сестра Хельга ставит в школьной тетрадке дату, ниже пишет: «Посещение дома нашим рейхсфюрером по случаю обряда Имянаречения!» Кончик ее пера чуть подрагивает. Потом она приклеивает сложенную вчетверо программку, которую сама же и копировала по трафарету:

ЛЕБЕНСБОРН¹⁰

ДОМ «ХОХЛАНД»

Обряд Имянаречения 3 сентября 1944 года

- I. Музыкальное вступление – Шуберт, «Неоконченная симфония»
- II. Представление
- III. Гайдн, «Вариации на тему „Песни немцев“»
- IV. Речь рейхсфюрера о смысле Имянаречения
- V. Имянаречение
- VI. Песнь верности

Она закрывает тетрадь, прячет ее в ящик стола.

Перед зеркалом поправляет чепец, убирает под него светлую прядь, втыкает в узел еще несколько шпилек. Взгляд растроганный, даже со слезой. Она разглядывает свои плохие зубы, улыбка портит красивое лицо. Черная дыра в снегу. Она закрывает рот. Улыбается, не разжимая губ.

Она здесь уже год, для нее это будет восьмое Имянаречение. Обряд проводится раз в месяц или полтора. Рейхсфюрер по такому случаю прибудет впервые. Ей нравится работать в «Хохланде», она даже стала забывать про свой неудачный опыт в другом центре Лебенсборна, в доме «Фрисланд», куда ее взяли сразу после окончания школы медсестер. Она мечтала о работе в операционной, а ее направили в эти детские ясли, где еще не было *Braune Schwester*, «коричневой сестры», без которой не обойтись. Когда ей предложили вступить в общину NSV¹¹, она не стала раздумывать: платят за ту же работу больше, и репутация лучше. К тому же «Фрисланд» был недалеко от дома, каждое второе воскресенье она могла ездить на велосипеде к родителям. Она с радостью согласилась. И быстро освоила уход за грудничками, надеясь, что вскоре подвернется что-нибудь еще. Комната на двадцать кроваток, самым младшим детям несколько недель, самым старшим – полгода. Конвейер. Стоило одному начать плакать, все подхватывали. Но все же лучше, чем на фронте. Одна из ее подруг-медсестер оказалась там и написала ей письмо, после которого она стала ценить свое место работы.

¹⁰ Лебенсборн (*Lebensborn* – «Исток жизни») – организация, основанная в 1935 году для подготовки молодых «расово чистых» матерей и воспитания «арийских» младенцев (прежде всего детей членов СС). – *Здесь и далее примеч. перев.*

¹¹ NSV (*Nationalsozialistische Volkswohlfahrt*) – Национал-социалистическая народная благотворительность, общественная организация, основанная НСДАП в 1933 году, вскоре после прихода партии к власти.

Она предпочитала иметь дело с новорожденными, а не с «пансионерками», как их называли. Среди них было много матерей-одиночек, по меньшей мере две трети. Считалось, что все равны, и к любой из них надо было обращаться по имени, прибавляя к нему «фрау». Но это ничего не меняло: замужние женщины сообщали о своем семейном положении в первые пять минут разговора. Все без исключения. Супруги офицеров СС были склонны делиться всевозможными подробностями личной жизни, своей бесстыдной откровенностью они пытались отделить себя от тех врушек, что притворялись замужними, но их выдавали мелочи: отсутствие кольца, порой некоторая робость.

Однако все они строили из себя порядочных и, независимо от происхождения, вели себя как мешанки. Наперебой хвастались удачным замужеством, а все незамужние уверяли, будто помолвлены, даже если у отца ребенка уже была семья. Звание и престиж этих «женихов» бросали свой отсвет и на них. Служащие, секретарши, крестьянки держались как жены генералов и маршалов, которым положено все. Некоторые молчали, были и такие. Но часто то, о чем не рассказывали, было постыдным.

Как бы там ни было, здесь о них заботились точно так же, как о законных супругах. Ничуть не хуже, чем о матерях, награжденных крестом почетного легиона Крольчих, как называла втихомолку Хельга обладательниц *Mutterkreuz* – ордена, которым награждали многодетных; за четырех детей давали бронзовый крест, за шесть – серебряный, за восемь – золотой. Наверное, потому эти матери-одиночки и воображали о себе так много.

Хельга утешала себя тем, что они хотя бы отказывают женам, беременным незаконным ребенком. Женская неверность указывает на дурную кровь, так говорил доктор. Однако мужскую неверность поощрял сам рейхсфюрер, она убедилась в этом на собственной шкуре, потому-то и попросила тогда, чтобы ее перевели куда-нибудь из «Фрисланда».

Там она быстро освоилась с работой, но не с управляющим, унтерштурмфюрером Бахшнайдером. Когда она прибыла туда, он, протягивая ей анкеты, сказал: «Вы отлично сложены, а детей у вас нет, это нехорошо. Если у вас нет партнера, я к вашим услугам». Он смотрел, как Хельга заполняет бумаги, до того пристально, что у нее дрожала рука. И этот человек был вездесущим, невозможно было и двух дней подряд избегать его взглядов, его приветствий и его слишком долгих улыбок. Женатый, двое детей. Тогда она обратилась к начальству с просьбой о переводе. Бахшнайдера при этом не упоминала, просто объяснила, что ее не слишком тянет к грудным детям и что она приносила бы больше пользы где-нибудь в другом месте. Она боялась, что ее отправят на фронт или в Берлин, но ей предложили место медицинской секретарши здесь, в Штайнхёринге. Дальше от дома, но в баварской деревне, и она согласилась.

И ни разу не пожалела о своем решении. Ей нравится быть правой рукой доктора Эбнера, приводить в порядок его бумаги, разбирать письма, отвечать на них. И она знает, что он ценит ее работу. По тому, как он обращался с ней с первого дня, она сразу догадалась, что у него дочери ее возраста. Он спросил, чего ей хочется добиться в жизни.

- Я люблю свою работу, герр доктор.
- А семья? Вы хотите иметь семью, сестра Хельга?
- Да, герр доктор, я хочу выйти замуж. Только брак – или ничего.

Она не хотела быть такой, как эти девушки. И никогда такой не была. Будучи еще совсем юной девочкой, она в поездках или во время праздничных вечеринок сторонилась крутившихся около нее парней, ей противно было смотреть на недолговечные парочки.

- Если нет любви, мне этого не надо, – прибавила она.

Доктор улыбнулся.

– Вы *ein braves Mädchen*, порядочная девушка, сестра Хельга, и это делает вам честь. Я бесконечно уважаю вас. Беда в том, что мужей на вас на всех не хватит, мы потеряли много молодых людей, и из лучших. Но все вы сможете стать матерями, и в прекрасных условиях. Для того мы и создали наши дома.

Здесь она чувствует себя на месте. Она гордится тем, что делает, и тем, где находится. Она повязывает поверх платья белоснежный, особенно тщательно накрахмаленный передник. Идет в последний раз все проверить. Надо воздать должное дому. Оказать почести рейхсфюреру.

Общая комната. Столы накрыты, после церемонии подадут кофе. Она выравнивает чашки. Вестибюль. Она возвращает на место выбившуюся из букета розу. Поправляет складки скатерти и подушку, на которую будут укладывать детей. Доска, флаг, знаки отличия – все идеально. Она проводит пальцем по раме портрета фюрера, проверяет, вытерта ли пыль. Сестринская. Родильная палата. Все безупречно. На ее письменном столе только пенал и лампа, все убрано в ящики, она любит порядок. Хоть она и очень молода, доктор Эбнер ей полностью доверяет. Он часто больше полагается на нее, чем на старшую медсестру Марго Хельцер, та недостаточно старательна. Один раз Хельга даже видела, что она не продезинфицировала инструменты. Пансионерки считают ее грубой и резкой и насмеваются над ее усиками и прямыми сальными волосами.

Детская, сейчас пустая. Четырнадцать кроваток. Пол вымыли сегодня на рассвете.

Комната для кормления. Матери кормят новорожденных и меняют им пеленки. На столе стопка длинных белых платяев для обряда. Один из младенцев одет, мать с гордостью показывает его другим женщинам, смеется, те обсуждают, хвалят. Хельга протягивает ей тряпку: «Осторожнее, не забудьте прикрыть платье». Куда же подевалась сестра Марго, она должна быть здесь, присматривать за матерями.

В углу сидит фрау Хейтрёй со спящим Юргеном. Видно, что она не просто устала, глаза у нее красные, опухшие. Вьющиеся каштановые волосы не уложены, лицо осунулось и кажется исхудавшим, серые глаза светлее кругов под ними. Она сильно потеет. Потеет, как плачет, и как будто что-то там, наверху, ее покинуло. Сестра Хельга подходит к ней, кладет руку на лоб – жара нет.

– Он не просыпается, – говорит ей фрау Хейтрёй. – Он ни разу не поел с тех пор, как родился.

Хельга старается ее успокоить:

– Так бывает. Он скоро проголодается и наверстает упущенное. Вот увидите, он проголодается во время церемонии.

Она хотела пошутить, но, вместо того чтобы улыбнуться, фрау Хейтрёй еще больше расстраивается. Глаза на мокром месте, вот-вот расплывется. Всхлипнув, она прижимает к себе младенца. Медсестра нашептывает ей, что после родов женщины нередко делают чувствительными, это все гормоны, но надо себя контролировать и не подавать виду. Хельга не говорит ей, что если доктор Эбнер или старшая сестра это увидят, то запишут в карте, а для нее это совершенно лишнее.

– Все наладится, фрау Хейтрёй.

Но молодая женщина, заливаясь слезами, прижимает ребенка к обнаженной груди, он не просыпается, не ест, он спит, приложив пальчики к губам. Она плачет, как по покойнику, ужас-

ные звуки, и все остальные на нее смотрят. Хельга велит ей пойти в свою комнату и умыться и прибавляет, понизив голос:

– Не надо здесь так плакать. И вообще нигде. – Забирает у нее Юргена. – Я принесу вам его через полчаса, перед началом обряда.

Сестры никогда так не делают – как правило, матери сами приходят за детьми, чтобы покормить их и перепеленать, строго по расписанию, пять раз в день. Фрау Хейтрёй выходит из комнаты в слезах, внутренне надломленная.

Едва она скрывается за дверь, к Хельге подходит фрау Хильде, соседка фрау Хейтрёй по комнате, шесть дней назад родившая девочку. Она шепчет, но так, чтобы всем было слышно, что это невыносимо:

– Это не прекращается с тех пор, как фрау Хейтрёй родила. Плачет и плачет. Что-то было не так?

– Напротив, по словам сестры Марго, фрау Хейтрёй очень хорошо держалась во время родов.

– С ней невозможно стало жить. Я снова попрошу отдельную комнату. Как бы там ни было, мое положение должно это позволять.

Она шепчет, а кажется, что кричит – такая она раздраженная, красная, так тяжело дышит. Хельга с трудом сдерживается. Когда пансионерка упоминает о своем положении, это означает либо что она замужем, либо что отец ее ребенка занимает высокий пост. Хуже всех те, у кого есть обе привилегии. Завтра она проверит статус этой женщины.

– Как вам известно, это невозможно. Но я понимаю, насколько вам трудно, и, если так будет продолжаться, поговорю с доктором.

– Я сама поговорю с ним, и сегодня же.

Она удаляется вперевалку, Хельга смотрит ей вслед – фрау Хильде в самом деле набрала лишний вес, это вредно. Надо отметить в карте.

Юрген крепко спит у нее на руке. Они всегда так спят после рождения, утомленные холодом, светом и кислородом в легких, он скоро проснется. Он выпутался из пеленки и во сне подергивает сжатыми кулачками, трепыхается, будто птенчик. А щечки себе все же не расцарапал, как часто делают новорожденные в первые ночи. Хельга снова, чуть потуже, заворачивает его на пеленальном столике. Он, не просыпаясь, блаженно улыбается. Первый принцип ухода за младенцем – гигиена, третий – свежий воздух, вторым между ними идет покой. Детям необходим покой, спокойствие – прежде всего. Юрген, похоже, очень спокойный ребенок. Хельга треплет его по щеке. Она немного нервничает. Рейхсфюрер, наверное, уже прибыл.

Рене

Десять утра, в вестибюле звучит *Die Unvollendete*, «Неоконченная симфония» Шуберта. Все гладкое, чистое, навощенное. Рене оглядывает выстроившихся вдоль стены мужчин в форме. Медсестры и пансионеры сидят. В первом ряду те, что с младенцами на руках. Пансионеры нарядные, в красивых платьях, у большинства туфли на каблуках и шляпки. У ее соседки на глазах слезы. Рене тоже растрогана: все молодые мужчины напоминают ей Артура Фейербаха.

Впереди, у стола со свастикой, офицер что-то шепчет на ухо одетому в мундир доктору Эбнеру. Она узнает офицера – это Гиммлер, она давно знает его в лицо, в «Хохланде» много его портретов. Низенький, со скошенным подбородком, близорукий, он выглядит кротким, хотя на самом деле не такой. Какое отношение имеет этот человек к дому, где она живет?

Музыка смолкает, доктор произносит речь, Рене даже не пытается понять, что он говорит. Ей кажется, что от ближайшего к ней солдата пахнет одеколоном. Она разглаживает на коленях ситцевое платье в цветочек, которое ей дали в первый день.

Variationen über das Deutschlandlied Гайдна, «Вариации на тему „Песни немцев“». В скрипичную мелодию врывается плач младенца, мать его укачивает. К ней приближается медсестра с пустышкой в руке. Номер заканчивается, в первом ряду тихо попискивают. Теперь начинает говорить Гиммлер, он читает по бумажке, держа ее перед собой. Рене на мгновение забывается, спрашивает себя, что она здесь делает, что она такого сделала, чтобы оказаться в одной комнате с ним. Потом вспоминает унижение, которое пережила до того, как приехала в Ламорле, *суд* и бритье наголо. Плевки, ощущение, когда они скользили по коже, сползали влажными потеками. Она чешет руки, будто стараясь унять зуд. С интересом разглядывает коротышку у алтаря со свастикой. Пытается сосредоточиться на его словах, различает *Deutschland*, различает *Kinder*, это понятно, он улыбается, смотрит ласково. Вскоре она перестает слушать, взгляд делается рассеянным, мысли блуждают. Из всего, что она видит перед собой, ее занимает только то, что можно будет рассказать Артуру. Она рада, что сможет написать ему про приезд Гиммлера. Он, конечно же, восхищается этим человеком, и капелька его интереса достанется ей.

У них было мало времени, и потому она без конца возвращается к одним и тем же минутам, редким, ускользнувшим, вся их история, все события, которые привели ее сюда, вмещаются в несколько мгновений.

Когда они встретились, ей только-только исполнилось шестнадцать. Это было в начале июня. Она помнит: поздняя весна, тесная чердачная комнатка прямо под крышей, простор, который открывается за окошком. Запах застоявшейся воды от Одона. Крики чаек. Жар, который и ночью сохраняется в черепице, солнце весь день ее накаляет, прогревает насквозь. Гостиница «Колокол».

Однажды утром весь персонал собирают в главном холле. Туда пришли служащие мэрии и даже сам мэр, он объявляет, что немцы идут к Кану и что все местные гостиницы реквизированы. И что у персонала есть выбор – продолжать работать здесь или ехать работать в Германию. Рене уезжать не хочет, она остается, и приходят немцы, около полудня, целая делегация, они ждут в холле, чтобы их разместили. Она съезжает по перилам с третьего этажа, соскаль-

зывает до самого низа, до большого медного шара. Кто-то ловит ее за талию, она оборачивается, это Артур Фейербах. *Olala Fräulein*, – говорит он и ставит ее на пол. Он молод, ему и двадцати нет, может, восемнадцать. Очень худой, волосы коротко острижены, лицо угловатое, глаза светлые. Он что-то говорит, она его не понимает, но голос у него звучный. И на нем форма Ваффен-СС. Он улыбается ей. Она ему не улыбается. Она его отталкивает и спешит присоединиться к своим.

Ей не нравятся немцы.

В этот день и еще несколько дней она его избегает. Старается с ним не встречаться, но держит у себя в комнате букет цветов, который он оставил у двери. Избегает его, но в конце концов улыбается ему издали. Избегает его, но надеется встретить. Встречает его. Все чаще и чаще.

Через две недели он говорит, что женится на ней. Клянется честью. Своим мундиром. Клянется, что любит ее, что у него это первый раз, и плачет – может быть, еще и потому что он очень молод и потому что, скорее всего, никогда не вернется домой. Она говорит – да, она тоже его любит, но они не могут пожениться. Пока это невозможно. Она говорит, что они дождутся конца войны. Она говорит, что будет его ждать, и тоже клянется. Родителями, собственной жизнью.

Они сидят на узкой железной кровати, держатся за руки, он пытается ее поцеловать, она отворачивается, сердце у нее отчаянно колотится. Он показывает ей фотографию своей семьи. Его мама, его сестры, его младший брат, ему пятнадцать, он тоже в форме. Рене уже любит их, любит маму Артура, на которую он похож, и особенно младшего брата, они с ним как близнецы, только тот поменьше, маленький Артур, она так хотела бы с ними познакомиться.

Он несколько раз повторяет, что может погибнуть. Пуля попадет в живот или в голову, его разнесет на куски снарядом, он может сгореть заживо, наступить на мину, взорваться в своем танке, и останутся от него только кровь и клочья плоти. Он говорит, что, может, больше ее не увидит. Говорит, что теперь, когда он ее узнал, он уже не хочет умирать. Он говорит о смерти со своим немецким акцентом, который ей нравится больше всего, как и его голос, и его интонации. Помолчав немного, он снова говорит, что женится на ней, и притягивает ее к себе.

И другие минуты вроде этих. Прогулка по берегу реки. Полевые цветы каждый день. Аромат сирени, увядающей в ее раскаленной комнате, пахучая вода испаряется из банки для варенья, приспособленной вместо вазы. Душок болот и обмелевшей реки, по берегам которой дымятся на солнце водоросли.

И ночь перед отъездом Артура Фейербаха. Он принес хлеб, паштет и бутылку красного вина. Он особенно весел от того, что ему грустно. Его улыбка озаряет все лицо и глаза. Он рассказывает ей про Берлин, его город, ему хотелось бы показать ей фотографии. И самому посмотреть. Наверное, сейчас лучше не надо, Берлин каждый день бомбят, разрушены целые улицы, но ему повезло, его родители живы, хотя от дома его детства ничего не осталось. *Heim*, – говорит он, родной дом. Он хотел бы когда-нибудь вернуться домой. С ней. Они пьют вино, смотрят друг на друга, целуются, два испуганных подростка, которые не хотят завтрашнего дня и крепко обнимаются, слишком быстро приканчивая бутылку. Чувствуют, что времени у них не будет.

Она его любит, она в этом уверена, но о пьяных объятиях после этого тут же жалеет. Ей больно, она ничего не чувствует, кроме боли и страха. Страх – будто пропасть, в которую она падает и падает и чувствует, что все плохо. Что теперь она потаскуха, он никогда на ней не женится. К этому примешивается мысль, что Артур вот-вот уедет на фронт, она боится, что больше никогда его не увидит. Она не перестает дрожать, никакими ласками ее не успокоить. Ей хочется встать и уйти и идти, не останавливаясь, и вдруг так страшно подумать, что он ее не любит. Глаза у нее сухие. Ей холодно, она никак не может согреться. Он твердит, что любит ее, снова и снова повторяет это по-французски и по-немецки, она слушает, и его голос для нее милее прежнего, но она не верит больше ни слову из того, что он говорит.

Их единственная, первая и последняя ночь.

Он встает, одевается. Ремень, сапоги. Останавливается, чтобы взглянуть на нее. Все в ней сжалось, застыло, время растягивается, глаза заливают белый свет из окошка.

Он открывает дверь. Бросает на нее последний взгляд.

Дверь закрывается, она слышит резкий щелчок замка.

Его шаги удаляются.

Умереть.

Тишина.

Белый свет повсюду.

В тот же день она пишет ему по-французски отчаянное письмо, полное нежных слов и обещаний, почти безумное от боли, которая в нем сквозит. Дюжину раз переписывает, каждый раз находя оплошность, ошибку, неверное слово, или помарка случается, или подпись выходит некрасивой, а письмо должно быть безупречным. Под конец оно становится пугающим, но ее терзает такая тревога, что она этого не осознаёт.

Накануне отъезда Артура она дает ему конверт со своей фотографией, стопку фирменных бланков гостиницы и записку с ее адресом. И теперь каждый день спрашивает у швейцара, нет ли для нее писем. Писем нет ни в первый день, ни на завтра, ни потом. Она говорит себе, что письма теряются, и это ее почти успокаивает. Вскоре ее начинает страшить возможная встреча со швейцаром. Уже через два дня она, увидев его, ни о чем больше не спрашивает, а он ограничивается тем, что отрицательно качает головой. На пятый день она пристаёт к офицеру СС с новым письмом, умоляя передать его на фронт, тот берет письмо, вертит в руках, разглядывает и молча возвращает.

Две недели спустя Рене пишет ему, что он станет отцом. И думает, что письмо, отданное другому немецкому солдату, который приветливо ей улыбнулся, никогда не дойдет. Да и вообще почти все военные покинули деревню.

Через четыре дня швейцар вручает ей конверт – три листка, французский вперемешку с немецким, и она с первого взгляда понимает, что письмо среди всего этого ужаса полно радости. Он пишет по-французски, что безумно счастлив, что он ее любит, что она красивая – по-немецки, наверное, он пишет то же самое – и что своего сына он тоже любит больше всего на свете. Еще он пишет, что ей надо уехать, что у нее будут неприятности, и дает ей адрес, который выглядит неполным, «Буа-Ларри» в Ламорле, это рядом с Шантйи. К своему письму он прикладывает еще один листок, письмо на немецком, адресованное доктору, заведующему домом «Вествальд».

Она любит его почерком, гладит письмо, подносит к губам. Ей кажется, что она улавливает его запах, исходящий от бумаги.

С тех пор как ей исполнилось двенадцать, отец не уставал твердить, что выгонит ее из дома, если она забеременеет незамужней. Или будет гонять ее вокруг дома до тех пор, пока не скинет плод. Мать ни разу ему не возразила. Это честные, стойкие, уважаемые люди. Он сапожник, она держит лавку. Рене – их единственная дочь.

Десять утра.

В два часа пополудни она в полупустом поезде едет в Лизье, откуда сможет добраться до Парижа и Ламорле.

Худшее еще впереди.

Не думать больше об этом, не думать об этом, сосредоточиться на том, что происходит сейчас, она смотрит на дубовый паркет, сильно щиплет себя правой рукой за левую, хватит мечтать. Поднимает глаза на Гимmlера, тот уже перестал говорить. На подушке перед алтарем теперь лежит младенец, машет ручками. Рядом с ним его мать и эсэсовец, Гимmlер задает вопросы, они отвечают *Ja*.

Как она обо всем этом расскажет в письме, чтобы получилось красиво? Она задумывается, устроят ли для их ребенка такую же церемонию. Будет ли там Артур в форме. Это что-то вроде военного крещения, хотя она знает, что не все эти малыши – солдатские дети. Вообще-то, похоже, матери и эсэсовцы между собой не знакомы, они едва смотрят друг на друга, как чужие. А отцы? – задумывается она. Смотрит на женщин в нарядных платьях, на все еще стоящих мужчин. Ее трогает музыка, но мысли ее не слушаются, все мысли возвращаются к одному и тому же, до бесконечности, – воспоминания, тревога, неуверенность, Артур Фейербах.

Марек

Он в самой глубине парка, далеко от дома, где живут женщины. Приноровился и ритмично копает, разбивает комья земли, рыхлит грядки вдоль решеток, украшенных нацистскими рунами. Он морщится, глядя в землю. Часом раньше он видел, как в поместье въезжали вереницей черные седаны. Много. И он испугался. Со вчерашнего вечера ему так страшно, что и голод меньше терзает. Он ругает себя за то, что подошел к этой девушке, выхватил еду у нее из рук. Превратился в грубую скотину, ничего не соображал, рисковал жизнью ради того, чтобы набить брюхо. Она живет в том доме вместе с другими женщинами, которых он видит издали, там что-то вроде приюта для матерей. Она единственная, кого он увидел вблизи, совсем девушка, и он ее перепугал.

После этого случая он все время спрашивает себя, что делать, попытаться бежать или остаться. Он прикинул, есть ли шанс незаметно пробраться полями в его драной гражданской одежде, с плохим немецким. Сколько времени пройдет, пока его хватятся? Полчаса, самое большее – три четверти часа?

Если он сбежит и его найдут, то казнят без суда и следствия. Или снова отправят в Дахау. Если останется и она на него донесет, его снова отправят в Дахау.

Он, за столько лет не проливший ни слезинки, вчера всплакнул, он не хочет возвращаться в Дахау, больше никогда. Если он туда вернется, там и умрет, он в этом уверен. Голод в Дахау – не самое страшное, там была еще и жажда, чудовищная жажда. Однажды он даже обменял свою пайку хлеба на дополнительную порцию воды. От этой жажды у него все внутри пересыхало, нёбо делалось как терка, язык во рту деревенел. Щеки прилипали к зубам. Все внутри было наждачным. Он помнит, как оттолкнул миску, потому что от густой соленой похлебки у него во рту горело, рот был – сплошные язвы, открытая рана. Вода стала наваждением. Здесь воды много. И узники не умирают, ни один не умер за то время, что он здесь. И не пахнет смертью, горелыми волосами и мясом – от этого запаха у него рот наполнялся слюной и к горлу подкатывало. Здесь у него больше шансов. Рабочий день тринадцать часов, с шести утра до семи вечера. Еды мало. Унтершарфюрер Заутер скор на расправу. Но здесь он выживет. Он здесь уже который месяц живет и поживет еще.

Ворота снова открываются, еще одна вереница седанов и мотоциклы. Он осознаёт, что перестал копать. Наклоняется к земле. Мелко рубит сорняки и их корни, проветривает землю, зачерствевшую за ясные дни, сухую, как его рот в Дахау. Он рубит сорняки, выпускает их сок в грядку, увлажняет ее, копает глубоко, ищет воду, собравшуюся под поверхностью земли, в ее недрах. Чем глубже он роет, тем больше оживает земля. Ее запах, вывороченные наружу насекомые. Черви. Жуки. Он берет пригоршню земли, кладет в рот, жует, должно же там быть чем насытиться, раз насекомые кормятся. Земля безвкусная, хрустит на зубах, земля – это песок, и вода, и жизнь. Он сплевывает. Слюна густая, как сопля. Сплевывает и копает.

В Дахау Марек иногда пил воду из болота, когда их вели мимо. Он держал наготове свой котелок задолго до того, как они окажутся поблизости, и при первой возможности кидался к почти черной луже. За ним гнался капо с собаками. Но Марек достаточно быстро возвращался к толпе узников, которая его поглощала, он растворялся в ней. Ему говорили, что он поступает глупо, что собаки в конце концов его схватят, что это стоячая вода, плохая вода, от которой болеют дизентерией. Для Марека это было не болото, не стоячая вода и не грязь, это была жизнь.

Он еще чувствует во рту вкус и вязкость тины.

Он сплевывает, земля тотчас впитывает черную слюну, он копает.

Ему тревожно, но он знает, что этот кортеж для него не опасен. Солнце уже высоко. И время работает на него. Если бы девушка вчера, вернувшись домой, донесла на него, за ним бы сразу пришли. Если она не выдала его вчера, то, может быть, не выдаст и сегодня. А может быть, и никогда. Хотя она совсем молоденькая, почти ребенок, а дети не рассуждают. Стоит им испугаться – и они заговорят, все выложат. С чего бы этой немочке молчать? Чего же она ждет? Лучше бы она сразу рассказала, и покончили бы с этим. Лучше бы ему убежать, далеко. Ему повезет. Он смотрит на деревню. Все эти машины. Может, они от него отвлекут. И Заутера не видно. Он хотел бы его увидеть, чтобы избавиться от искушения бежать.

Хельга

Когда он вместе с доктором Эбнером вошел в вестибюль, у нее перехватило дыхание. Мужчины в парадных мундирах обмениваются несколькими словами, их заглушает музыка Шуберта, но вот она затихает, смолкает, и рейхсфюрер обращается к дорогим матерям из этого дома и дорогим сестрам, *Schwestern*:

– Как я рад, что оказался здесь, среди вас, что мы можем вместе чувствовать этих детей, наше будущее.

У него приятный, хорошо поставленный голос. Сам он – гордый *Patenonkel*, гордый крестный сорока семи детей, рожденных в домах Лебенсборна; он и дальше будет брать под свое крыло всех младенцев, появившихся на свет в день его рождения, 7 октября. Он объясняет, почему обряд Имянаречения так важен: через него все эти малыши войдут в большую общину СС.

– Благодаря вам, дорогие матери *vom besten Blut*, лучшей крови, сумевшие выбрать достойнейшего с расовой точки зрения партнера, всего за несколько поколений из нашей Германии пропадет всякий след нечистой крови. На это потребуется не больше столетия. Наши дома созданы для того, чтобы там рождались лучшие представители нашей расы – наши дети. Наша религия – это наша кровь.

И я благодарю вас, дорогие матери. Материнство – благороднейшая миссия немецких женщин. Опасности, которым вы себя подвергаете ради рождения детей, служа таким образом вашему народу и вашей родине, равноценны тем, каким подвергает себя воин в грохоте битвы. Взамен Германия обязуется защищать вас и ваших детей и избавить вас от физического труда, который мог бы нанести ущерб вашей плодовитости. Каждая из вас должна иметь возможность произвести на свет столько детей, сколько пожелает. Нашей Германии дети необходимы.

Голос у него срывается.

– Дорогие матери, ваши дети служат мне утешением, когда наши юноши гибнут за рейх на поле брани, вдали от дома. Сыновья из лучших семей приносят себя в жертву.

Хельга болезненно морщится. Рейхсфюрер повышает голос, продолжает с пафосом:

– Ваши дети – поколение новых рыцарей, которым придется своими руками стремительно нести величайшую из всех революций. И они (пауза)... грядущая наша победа.

Рейхсфюрер растроган, но не до слез. А Хельга утирает глаза. В эту минуту один из малышей начинает кричать, и рейхсфюрер сдержанно улыбается:

– А это – будущий полководец.

Все смеются.

Потом он просит подойти фрау Гудрун с ее младенцем. У Хельги перехватывает горло, как будто зовут ее. Она отряхивает белоснежный, безупречно выглаженный передник, складывает руки. Сухие руки, которые она слишком часто моет и дезинфицирует. Фрау Гудрун, робея, кладет малютку на подушку перед алтарем, расправляет белое платьице и поворачивается к рейхсфюреру. После паузы:

– Готова ли ты, немецкая мать, воспитывать своего ребенка в духе национал-социализма?

Она отвечает *Ja*, и они пожимают друг другу руки.

Затем он поворачивается к крестному отцу, совсем юному, слишком быстро выросшему солдату:

– Товарищ, готов ли ты, в качестве крестного этого ребенка, лично оказать помощь ему и его матери, если они будут в опасности или в нужде?

Рукопожатие, он отвечает *Ja*.

– Готов ли ты содействовать воспитанию этого ребенка в духе нашего сообщества охран-ных отрядов?

Снова рукопожатие и *Ja*.

Хельга ловит себя на том, что шепчет *Ja* одновременно с фрау Гудрун и с военным. Вме-сте с каждой женщиной и с каждым солдатом она шепчет *Ja*, как молитву.

Последней подходит фрау Хейтрёй. Только Хельга замечает ее легкую дрожь, слышит едва различимую запинку в ее *Ja*. Думает, что рука, которую та протягивает рейхсфюреру, должно быть, влажная. Потная. Ему может быть неприятно. Он выпускает ее руку, и Хельга испытывает некоторое облегчение.

Он поворачивается к малышу. Прикасается к нему кинжалом.

– Беру тебя под покровительство нашей общины и нарекаю тебя Юргеном. Носи это имя с честью.

Все присутствующие поднимаются. Одна из женщин плачет, закрыв лицо руками. Неко-торые младенцы чмокают, один нетерпеливо вертится, другой начинает плакать. Юрген ведет себя очень смирно.

Доктор Эбнер снова благодарит рейхсфюрера и поздравляет матерей. Кивает крестным, и те затягивают *SS-Treuelied*, песнь верности СС, вскинув руки в нацистском приветствии. Жен-щины тотчас повторяют их жест, кое-кто подпевает, Хельга знает только начало и конец.

Звезды, вы – наши свидетели,
Вы спокойно смотрите вниз:
Когда все братья молчат
И доверяются ложным богам,
Мы говорим лишь одно,
Мы поворачиваемся спиной к нашему детству,
Мы будем говорить и проповедовать
Во имя вечного и священного Рейха.

Долгая пауза. Вытянутые руки опускаются. По знаку доктора все направляются в общую комнату, кроме матерей, которые следуют за сестрой Марго и несут детей наверх. Шум. Голоса. Запах кофе – настоящего, не привычного омерзительного эрзаца. Женщины стоят группками, весело смеются, озаренные светом уходящего лета. Хельга держится поближе к доктору, она знает, что ему нравится, когда она рядом во время обряда Имянаречения или свадьбы. Он разговаривает с рейхсфюрером, и когда тот, разгорячившись, повышает голос, она различает слова.

– *Mein Freund*, друг мой, нет ли способа ускорить выполнение программы? – И немного тише: – Мы теряем много людей.

– *Mein Reichsführer*, через тридцать лет у нас благодаря домам Лебенсборна будут еще шесть полков. Но подгонять время мы не можем.

– Какая несправедливость, что солдат умирает мгновенно, а на то, чтобы его вырастить, надо шестнадцать лет. – Он горестно качает головой. – Наша 12-я танковая дивизия СС «Гит-

лерюгенд» храбростью превосходит дивизии, состоящие из взрослых, но отвага самых молодых подвергает их опасности еще сильнее, чем зрелых людей. К несчастью, гибнут очень многие.

Вкус твердого, плотного масла на свежей, чуть сладковатой сдобной булке. Хельга перестает жевать, бедные мальчики в Нормандии.

Оба мужских голоса снова становятся тише, и Хельга замечает, что рейхсфюрер делает ей знак подойти.

– Сестра Хельга, *mein Reichsführer*, – говорит доктор. – Моя секретарша, моя незаменимая правая рука.

– *Angenehm*, сестра Хельга, очень приятно. – Он пристально смотрит на нее. – Какая красавица. *Rein nordisch doch*, чистый нордический тип, не правда ли? Природная красота.

Он поворачивается к доктору:

– Кстати, друг мой, мне показалось, я заметил на лицах нескольких матерей пудру и губную помаду.

– Сегодня особый день, рейхсфюрер. Вам известно, что...

– Немецкой женщине не надо себя приукрашивать.

– Как вы и распорядились, я разослал по всем нашим домам циркуляр, где об этом говорилось. Строгий запрет для персонала. Однако некоторые матери...

– Это досадно. Ты ведь знаешь, какие глупые слухи ходят о наших безупречных заведениях. Не надо давать сплетникам ни малейшего повода. Отныне все неподобающее будет пресекаться. Краситься в наших домах запрещено навсегда.

– Я прослежу за этим, рейхсфюрер. – Расстроенный доктор протирает очки носовым платком. – Вы хотели посмотреть «Хохланд»...

– *Ja! Sicher!*¹² Начнем с кухни.

Мужчины уходят. Хельга остается. В правой руке она по-прежнему держит булку, к которой больше не притронулась. Рейхсфюрер оборачивается:

– *Kommen Sie doch mit*, сестра Хельга, пойдите же с нами. И скажите мне, из какой области Германии к нам прибыла такая красавица?

Хельга, не зная, как отделаться от булки, незаметно сует ее в карман передника.

– Из Грасберга, герр рейхсфюрер. Неподалеку от Бремена.

– *Wirklich*, в самом деле? Вы замужем? Нет, не замужем. Как жаль. Надеюсь, вы вскоре очастливите кого-то из СС. – Он вздыхает. Поворачивается к доктору: – Я еще повышу налог, который холостяки СС платят на Лебенсборн. Я с них три шкуры сдеру, обещаю тебе, что им наскучит холостяцкая жизнь.

В кухне хлопочут пять женщин. Заключение в гражданской одежде, все они – немки, свидетельницы Иеговы. Внешне они не отличаются от пансионеров, тот же возраст, тот же облик. Заметив людей в мундирах и разглядев рейхсфюрера, они одна за другой замирают. Опускают головы. Смотрят на свои руки, на кастрюли, на разделочные доски.

Он подходит к старшей из них, спрашивает, она ли здесь главная.

– Да, герр рейхсфюрер, – говорит она дрожащим голосом, не поднимая глаз.

– А что ты подаешь здесь на завтрак нашим мамочкам?

– Иногда хлеб, герр рейхсфюрер, иногда овсяную кашу.

– Нет, нет, нет. – Он сердится, повышает голос: – Надо каждый день давать им овсяную кашу! – И, повернувшись к доктору: – Мы ведь уже говорили об этом?

¹² Разумеется (нем.).

– Дело в том, рейхсфюрер, что некоторые матери боятся растолстеть.

– Но это блюдо пришло к нам из Англии, друг мой, и посмотрите, какие у них там фигуры. Посмотрите на лорда Галифакса! Какой он стройный! Вот вам доказательство, что *porridge* никак не влияет на вес людей хорошего происхождения! Матери в наших домах привыкнут есть овсянку и должны будут приучить к ней своих детей.

Суп убегает из кастрюли. Женщина хватается крышку, вздыхает – ошпарила руку. Кипящая вода расплескалась по полу. Женщина морщится. Глядя в пол, выключает газ.

Рейхсфюрер отворачивается, озабоченно покачивая головой.

Дневник сестры Хельги

Дом «Хохланд», 3 сентября 1944

После обряда мы вместе с рейхсфюрером и с доктором обошли дом! Я так волновалась. Трудно подобрать слова, достойные подобных событий.

В манере рейхсфюрера говорить я узнаю стиль его письма, ведь это я разбираю почту доктора. Они часто переписываются: доктор раньше был его личным врачом, а познакомились они еще в студенческом братстве в Мюнхене, до которого отсюда рукой подать.

Мне так много хотелось бы сказать про этот день. Не знаю, с чего начать. У меня все еще колотится сердце. Надо немного подождать, чтобы все это улеглось.

Я жалею только об одном – не сказала ему, что это я восемь месяцев назад составила так растрогавший его подробный отчет про маленького Карела. Несчастному ребенку, когда он умер от воспаления легких, было двенадцать дней. Я – одна из тех, кто был с ним в последние часы, бедный малыш, такой хорошенький, умер от удушья, несмотря на все наши усилия. В последнюю ночь он, что бы мы ни делали, оставался синюшным, дышал хрипло и со свистом, ему не доставало кислорода. Мы словно смотрели, как он тонет, и не могли протянуть ему руку. Ужасная, чудовищная ночь, он лежал у меня на коленях, я растирала ему спину и молилась, чтобы он дышал, дыши, *Schätzchen*¹³, дыши, дыши, и мое дыхание замирало вместе с его. Назавтра мне пришлось напечатать подробный рассказ, час за часом, минута за минутой, я над ним плакала. Доктор сказал, что и рейхсфюрер тоже плакал, читая мой отчет. И что он всегда оплакивает каждого младенца, умершего в одном из наших домов. Это показывает, что война не ожесточила его сердце. Душевное благородство познаётся в беде. Когда я слышу имя рейхсфюрера, всегда вспоминаю Карела и слезы, пролитые нами над одним и тем же ребенком, умершим у меня на руках. Но имя той, что составила отчет, он, конечно же, позабыл. Я и не думала об этом, пока мы показывали ему дом. А потом я уже не осмелилась бы с ним заговорить.

Он спросил меня, откуда я родом и замужем ли. Вряд ли я скоро выйду замуж, живя среди матерей-одиночек и невест СС. Здесь некоторые замужние женщины – мои ровесницы, есть и младше. Война никак не заканчивается, а я старею.

¹³ Миленкий (нем.).

Во время каждой церемонии я вспоминаю самое первое мое Имянаречение, в «Фрисланде». Тогда это зрелище показалось мне странным и даже рассмешило: всех их, десять или пятнадцать малышей едва нескольких дней от роду, торжественно посвящали в «рыцари Нового Ордена», тыча им в живот громадным кинжалом. Они беспорядочно трепыхались, и боязно было смотреть на них под этим тяжеленным оружием. И речь о восстановлении населения мне тоже не слишком понравилась. Один из крестных, выстроившихся в парадных мундирах, глядел на меня, до «крестника» ему ни малейшего дела не было. Он смотрел на меня долгим взглядом и слегка улыбался. Его звали Бернхард, и у него был красивый голос. Я дежурила и – отчасти из робости, отчасти из гордости – отделалась от него, сказав, что у меня много работы, Neil Hitler! – и вернулась в палату новорожденных.

Я чувствовала себя совсем юной, думала, что у меня вся жизнь впереди. Напрасно я была такой гордой. А ведь он был красивым. И, может быть, славным парнем. Что с ним стало? Жив ли он еще?

Но теперь каждое Имянаречение будет мне прежде всего напоминать о том обряде, во время которого я имела честь встретиться с нашим рейхсфюрером.

Она перестает писать. Смотрит прямо перед собой, шевелит губами, поджимает их. Вкладывает в тетрадь открытку, которую взяла в приемной, «Каждая мать с хорошей кровью для нас священна», фраза рейхсфюрера, слово в слово то, что он повторял во время обряда. На картинке женщина, улыбающаяся своему ребенку, как мадонна. Сестра Хельга закрывает тетрадь, смотрит на пруд, в котором отражается гаснущее небо, потом на свои освещенные руки.

Четверть восьмого, слышатся восклицания и смех, женщины группами по две, по три возвращаются с вечерней прогулки. Фрау Хейтрёй идет позади всех, одна. Хельга встает с тетрадью в руке, разглаживает передник, отряхивает платье сзади, по ступеням скатываются несколько камешков. Она возвращается в дом. Уже почти дойдя до второго этажа, чувствует чье-то прикосновение. Это задыхающаяся фрау Хейтрёй. Она говорит, что ребенок по-прежнему вообще не ест или ест по чуть-чуть. Она и сегодня вечером около часа держала его у груди, и ничего, он не двигался, хотя и не спал, открывал глаза. Фрау Хейтрёй заставляет себя успокоиться, сдерживает слезы. Хельга обещает ей, что сама попросит доктора завтра утром осмотреть ее ребенка. В ответ молодая мать, запинаясь, благодарит и пытается схватить Хельгу за руку, но та, инстинктивно ее отдернув, желает фрау Хейтрёй спокойной ночи.

Перед тем как лечь спать, она дописывает в своем дневнике:

Маленький Юрген по-прежнему не хочет есть. Меня беспокоит этот ребенок. В комнате для кормления старшая сестра в присутствии фрау Хейтрёй сказала, что он ненормальный.

Рене

Время, проведенное с Артуром, исчисляется часами и днями, время бегства – неделями, и, похоже, она пока не добралась до конца пути. На самом деле она все еще не вышла из полупустого поезда, в котором ехала в Париж. Это путешествие так и не привело ее к истинной цели – к Артуру, а то, от чего она бежала, продолжает ее преследовать. С тех пор она чувствует во рту этот горький, железный привкус, и ей даже в голову не приходит, что это из-за будущего ребенка, она говорит себе, что это привкус унижения, который тем сильнее, чем больше прошло времени после еды, он примешивается к вкусу пищи и даже воды, иногда будит ее с утра или посреди ночи. В вагоне она ехала одна, сердце у нее колотилось. У нее ничего не было с собой, никакого чемодана, только сумочка. Она зашила за подкладку фотографию Артура, оба письма и немного денег. Не думать больше об этом. Артур Фейербах. Она заставляет себя вернуться к привычному наваждению, чтобы не думать о том, как ее поймали.

Всего через несколько километров поезд внезапно останавливается, и она видит, как со всех сторон прямо из леса появляются «фифи»¹⁴, с ними толпа гражданских, большей частью мужчины, но есть и несколько женщин. Они входят в поезд и вытаскивают наружу ее и другую девушку, постарше, лет, может, двадцати пяти. Ведут их в школу. Там один из подпольщиков, с прилизанными волосами, с решительным взглядом темных глаз, пытается ее защитить: «Она совсем еще ребенок». «Нет теперь никаких детей», – отвечает кто-то и, выхватив у нее сумку, открывает ее, переворачивает и вытряхивает оттуда расческу, кошелек и пудреницу. Потом достает перочинный ножик и взрезает подкладку. Вытаскивает фотографию Артура Фейербаха, рвет пополам, бросает обрывки ей в лицо. Берет конверт, разворачивает первое письмо, на немецком, сминает его, открывает второе и жеманно читает вслух слова любви на французском, подражая немецкому выговору, «Я ЛЮПЛЮ ФАС», потом злобно выплевывает: «ИХЕ ЛИБЕ ДИХЕ» – с сильным французским акцентом. Рвет письмо, бросает ей в лицо. Она, опустившись на колени, подбирает, он плюет ей на пальцы. Она вытирает тыльную сторону руки о землю. Встает, ее хорошенькое личико – словно сжатый кулак, рыжие волосы растрепаны.

Они запирают ее в классе вместе с другой девушкой. На полу два матраса и ведро. Держат там неделю, потом выводят, чтобы «судить», как говорит один из них. Никакого суда. Перед развалинами ратуши в Эске-Нотр-Дам собралась плотная толпа, несколько сотен человек, они вне себя от радости. Под улюлюканье и аплодисменты ее ведут на паперть. Заставляют нагнуть голову. Один из мужчин держит ее за руку, второй орудует машинкой. Каждый раз, как на землю падает прядь ее волос, толпа бьет в ладоши, мужчины и женщины ее оскорбляют, пряди такие яркие, словно языки пламени лижут землю, падая в пыль, на расшатанные камни. Когда она поднимает голову, в лицо летит гнилой помидор, жижа стекает по щеке. Ликующие вопли и аплодисменты становятся громче. Она видит стиснутого толпой гостиничного швейцара, он всегда ласково с ней разговаривал, а теперь орет вместе со всеми. Она не кричит и не плачет. Сердце у нее замирает. Теперь она похожа на красивого, но растерянного мальчика, на жалкое облезлое животное, на восковую куклу без парика, она много на что похожа, никогда больше ей не стать самой собой.

Ее вместе с другой девушкой, тоже обритой, сажают в повозку, запряженную старой клячей, повозка пробирается сквозь толпу, чтобы все могли полюбоваться. Сидящий рядом муж-

¹⁴ Прозвище бойцов Французских внутренних сил (*Forces françaises de l'intérieur*, FFI) – вооруженных сил движения Сопротивления.

чина треплет ее по голове, как щенка, широко и победно улыбаясь. Другой тянет за подол, хочет сорвать с нее платье, оно трещит по шву, Рене отбивается, как дикая кошка, подбирает подол, ей свистят. Озверевшие от ненависти женщины вопят, ругаются, выкрикивают непристойности. Так в прежние времена возили всем напоказ осужденных на смерть.

Это продолжается несколько часов. Когда все заканчивается, толпа почти не расходится, в ней много пьяных. Рене высаживают у ратуши. Еще несколько оскорблений напоследок, уже без азарта. Даже мужчинам, сидевшим с ними в повозке, похоже, наскучило, их тянет на другие праздники, им дела нет до двух женщин, ставших невидимками. Медлит только черноглазый партизан, который пытался защитить Рене. Он дает ей и другой девушке немного денег и разорванную пополам рубашку, чтобы повязать на голову. Смотрит грустно. И уходит.

Назавтра в поезде она не смотрит в окно. Она глаз не сводит со своих рук, с грязных ногтей. В купе она одна.

Найдя в сумочке шпильку, она царапает кожу с внутренней стороны рук, чертит кровавые линии однообразными механическими движениями, какими вытесывают кол из твердого дерева или затачивают лезвие. Понемногу выступает кровь, сначала редкими точками, потом они сливаются, капли крови падают на линолеум. Она ничего не чувствует.

Родители ее бросили. Франция плюнула ей в лицо, а теперь хочет убить Артура Фейербаха.

Значит, она станет немкой.

Лизье, Париж, Шантйи. Последние несколько километров, от деревни Ламорле, она идет пешком по тропинке среди высоких буков. Когда она подходит к дому, к ней с лаем бросаются две большие собаки, немецкие овчарки, и она в ужасе застывает на месте. Она чувствует, как приливает кровь в пульсирующих венах, чувствует, что багровеет, ее начинает трясти. Скорым шагом подходят два эсэсовца, молодые бритые лица под касками кажутся похожими. Она вспоминает Артура. Протягивает им смятое письмо, адресованное здешнему врачу. Они молча куда-то ее ведут, она следует за ними. За воротами какие-то невысокие строения, пахнет конюшней. Посреди квадратной лужайки бассейн в форме креста. При виде усадьбы Буа-Ларри, показавшейся ей огромной, она замедляет шаг. Белый камень и красный кирпич, синие балки на фахверковой стене фасада, окна с частыми переплетами. Здесь встречаются богатые дома в таком стиле. Над широкой дверью лепнина, бегущий олень. А рядом черно-белый флаг СС.

Ей открывает медсестра. Забирает конверт, оставив ее стоять в прихожей. Возвращается с мужчиной лет тридцати, в штатском, но в эсэсовских сапогах. Квадратное лицо, прямой острый нос. В руке развернутое письмо.

– *Ich grüße Sie, Fräulein*, добрый день, мадемуазель.

У него сильный немецкий акцент, как у Артура. Он знаком показывает ей, чтобы шла за ним, открывает перед ней дверь медицинского кабинета. Это просторная комната с очень высоким потолком. Паркет, книжные шкафы вдоль стен, посередине письменный стол, все дубовое. В углу ширма и кушетка. Свет. Яркий свет льется через три больших окна на все это дерево, согревает его, заполняет все его золотистые прожилки. Навощенное, маслянистое на вид дерево. В солнечном луче пляшут пылинки. Немец велит ей раздеться, указывая на ширму. Она стыдится своего платья с рваным подолом, которое вот уже почти неделю носит не снимая, стыдится своего заношенного белья. Думает, что от нее воняет, в последние дни

ей случалось почувствовать собственный запах. Платье повисает на плетеной ширме, от него несет потом, затхлым душком млекопитающего.

Рене выходит из-за ширмы в своем простом несвежем белье, кожа у нее молочно-белая, почти до голубизны. Худенькая, как подросток. Пытается закрыться руками.

– Снимите все, *bitte*. Пожалуйста.

Рене, стиснув зубы, снимает.

Голая, прикрываясь левой рукой, мелкими шажками подходит к нему.

Он смотрит, как она идет. Она твердо поднимает глаза, и в резком свете ее взгляд – пожар и рана. Он встает, берет ее за подбородок, не дает отступить. Изучает ее странные радужки, как будто выискивает признаки болезни. Губы у нее дрожат. Она вся дрожит. Он ее отпускает.

Укладывает ее на кушетку. Несколько минут ощупывает живот ниже пупка. Она отводит глаза, пока он измеряет ее от лобка до верха матки.

– *Fünf*. Пять недель, – говорит он. И переспрашивает: – Пять недель?

Она кивает. Пять, без двух или трех дней. Он улыбается. У фрау Рене мокрые ладони и особенный запах пота рыжих. Затем он разглядывает внутреннюю часть ее рук, подозрительные царапины. Хмурится.

Ласково говорит что-то по-немецки, явно стараясь ее успокоить, но она не понимает. Он оставляет попытки. Видит, что она по-прежнему дрожит, смотрит на ее кожу в испарине, оценивает глаза истерзанного дикого зверя.

– Вы *nervöse*. Не надо, *grosse Emotionen* – это *ganz schlecht*¹⁵, вредно для ребенка.

У фрау Рене алое сердце бьется под самой кожей, от прилива крови стали незаметны веснушки, которыми она усыпана. А зеленые глаза сквозь слезы – как морская волна с поблескивающими на дне рыжими водорослями.

– Что я говорил, – замечает доктор. – *Alles gut*, хорошо, очень хорошо. Все будет прекрасно.

Он зовет медсестру. Диктует ей цифры. Измеряет рост Рене стоя. Сидя. На корточках. Измеряет окружность бедер, талии, груди. Измеряет краниометром окружность головы, биариетальный диаметр, межглазное расстояние, лоб. Расстояние между носом и губами, между углами челюсти. Нос, в длину и в ширину. Ощупывает ее череп, каждую впадину, каждый выступ. Проводит пальцем по краям орбит, радужка – трепещущий огонек.

Он слегка отодвигается. Она тут же закрывает глаза. С закрытыми глазами она чувствует себя лучше.

Он заставляет ее снова открыть глаза. В руке у него альбом с глянцевыми образцами радужек всех цветов, они расположены рядами, от самой светлой до черной. Он определяет цвет ее глаз. Цифра и буква.

Другой альбом с образцами, пряди волос, как у парикмахера. Пряди от белокурых до черных. Он измеряет ее рыжину. Цифра и буква.

И наконец, он с помощью третьего альбома измеряет белизну ее кожи, молочную белизну. Цифра и буква.

¹⁵ Вы нервничаете. Не надо, сильные эмоции – это очень плохо (*нем.*).

Он велит ей открыть рот, держа за подбородок, разглядывает зубы, как у молодой кобылы. Цифра.

Сверху записан рост. Стоя – 167 см. Сидя – 82 см. И вес – 47 кг.

Таблица, 21 строка, надо выставить оценки от 1 до 5, лучшая оценка – 1. Рост. Телосложение. Осанка. Длина ног. Форма черепа. Затылочная часть черепа. Форма лица. Спинка носа. Высота носа. Ширина носа. Скулы. Глубина орбит. Форма век. Наличие эпикантуса. Губы. Подбородок. Структура волос. Волосистой покров на теле. Цвет волос. Цвет глаз. Цвет кожи. 2. Высокая. 1. Стройная. 1. Очень прямая. 2. Длинные. 1. Очень длинный. 2. Выступающая. 1. Узкий овал. 1. Прямая. 1. Очень высокий. 1. Очень узкий. 1. Не выступающие. 2. Глубокие. 1. Удлиненные. 1. Слабо выраженная кожная складка. 1. Тонкие. 2. Четко очерченный. 1. Прямые, жесткие. 1. Слабо выражен. 2. Светло-рыжие. Дойдя до цвета глаз, его рука замирает, словно в нерешительности. Голубые, 1а–2б. Нет, неуверенно зачеркивает. 2. Серо-голубые. 1. Розовато-белая.

Затем он диктует медсестре что-то по-немецки, чего Рене не понимает.

– В основном нордический, легкое динарское влияние, некоторые слабо выраженные восточные черты.

В большой комнате на втором этаже, куда приводит ее медсестра, душно. Она садится на кровать. Вскоре служанка приносит суп и черный хлеб, ставит тарелку на маленький письменный стол. Дождавшись, пока она закроет за собой дверь, Рене набрасывается на еду. Когда служанка входит снова, Рене сидит с полным ртом и жирными пальцами, ей стыдно, что ее застали в таком виде, она вытирает рот тыльной стороной запястья. Служанка ставит на пол таз с водой, кладет рядом обмылок, вешает на спинку стула полосатое платье.

Тщательно помывшись, Рене его надевает; платье ей велико, но оно чистое, приятно пахнет стиральным порошком. Потом трет в тазу половину рубашки, которой повязывала голову, белье и платье, которые долго носила не снимая. От мыла ничего не осталось. Вода сделалась черной, но платье по-прежнему было грязным. Рене выжимает его и вешает сушиться на стул, подставив таз. Время от времени с платья звонко капает вода. За окном уже темно.

На стене рядом с дверью маленькое зеркало. Она к нему не приближается.

В доме «Вествальд» в Ламорле она проводит двадцать три дня. Ни одного письма от Артура. 9 августа 1944 года поднимается суматоха, союзники идут к Парижу. Колыбельки, ящики, документы сваливают в грузовик. В пять утра 10 августа у ворот останавливаются еще два военных грузовика. Семь живущих в «Вествальде» детей с тремя медсестрами уезжают в Германию, вместе с ними едут Рене и еще одна француженка. Два дня пути по проселочным дорогам.

Дом «Таунус» рядом с Висбаденом, на одну ночь.

Дом «Хохланд».

Дорога, церковь, деревня. Машина останавливается у решетчатых ворот, украшенных рунами, из будки выходит солдат, открывает, и грузовик катит к большому белому дому, соединенному крытым проходом с другим зданием. На каждом этаже по девять окон, дом не похож на казарму, но слишком велик и уютным не выглядит. У входа, как и в других домах Лебен-

сборна, флаг СС. Перед большой деревянной дверью стоит медсестра, она улыбается. Приветливая, млечная улыбка.

Чем дальше она забиралась в Германию, тем больше отдалялась от себя самой, понемногу утрачивала всякую принадлежность и всякую устойчивость. Она отделилась от Артура, о котором не знает ничего, кроме имени. Иногда она говорит себе, что у нее ничего не осталось. У нее не осталось ничего и никого, но она, по крайней мере, больше не голодает. Не продала ли она душу, страну и честь, чтобы прокормиться?

Марек

Он не сразу замечает хлеб на камне. Он уже загребаёт очистки полными пригоршнями. Под ногтями у него земля, руки израненные, исцарапанные, в шрамах и мозолях. Не пальцы – когти, клешни. Он заталкивает в рот первую горсть и тут видит хлеб. Большой ломоть, намазанный маслом. Он набрасывается на хлеб, жадно ест, озираясь, как будто за ним гонятся, нет, никого, никого. Только бы не отняли. Заглатывает, боясь не успеть. Все это тает у него на языке, и сразу пропадает постоянная горечь во рту. Но не голод. Он быстро собирает оброненные очистки, распахивает их по карманам, хватая свои инструменты и бежит, бежит к живой изгороди, которую сегодня подрезает.

Запахавшийся, с несколькими крошками хлеба, прилипшими к нёбу, он вытаскивает из кустов припрятанные вилы и секатор и снова принимается стричь. Он все еще чувствует вкус мякиша и масла, толстый, плотный, тающий слой, и стирает ладонью оставшийся на щеках жир, потом облизывает пальцы. Такой хлеб он ел *раньше*. Заключенным дают черный хлеб из каштановой муки, смешанной не пойми с чем, в нем попадаются щепочки, опилки, солома, иногда он заплесневелый. Триста граммов каждый вечер, с чем-то вроде патоки. Вкус хлеба с маслом не пропадает, от воспоминания о нем слюнки текут. На зубах скрипят песчинки.

Он не думает о том, откуда мог взяться этот хлеб с маслом. Какая разница.

Еще не отдышавшись, он оборачивается на голос унтершарфюрера Заутера, высокий лающий голос под конец срывается на визг. Он холодеет: Заутер, обезумев от ярости, мчится к нему с двумя солдатами. Марек опускает секатор, глядя в землю. Значит, она заговорила. Он перестает дышать, и сердце, часто стучащее после недавнего бега, заполняет его всего целиком. Эсэсовец орет на своем варварском наречии, Марек даже не пытается понять. Потом Заутер тычет его в грудь дубинкой, заставляя на шаг отступить, *Wo warst du?*, где ты был? – и Марек поднимает глаза, бормочет, запинаясь, что ему пришлось, ему понадобилось, нужник. Левое веко у него дергается – наверное, заметно, что он врёт, весь глаз трепыхается, будто крыло насекомого. *Zwanzig!* Двадцать, это значит – двадцать ударов. И Марек выдыхает, он чуть не плачет от облегчения.

Двадцать ударов дубинкой, обычное наказание.

Это значит, что его не отправят обратно в Дахау.

И что она ничего не сказала.

Хельга

Эту комнату не занимали, потому что в ней сломан водопроводный кран. Занавески задернуты, и этот запах... Хельга раздвигает занавески, открывает окно, впуская теплый, розовый, чуть сладковатый вечерний воздух. Фрау Хейтрёй полулежит на кровати с ребенком, он не плачет, он никогда не плачет, она прижимает вялого малыша к груди, как тряпичную куклу. Она не подняла глаз ни тогда, когда вошла медсестра, ни тогда, когда та открыла окно. Она целует своего маленького в голову, как умершего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.